

Пишешь?
 — Пытаюсь вспомнить, что это такое. После долгого перерыва...
 (Комментарий интервьюера: все-таки мой друг — живописец молодой. Эмигрировал он из театра в живопись лет десять назад, сделав как сценарист со своим отцом режиссером Анатолием Эфросом какое-то не укладывающееся в голове число спектаклей. А для молодого автора перерыв в полтора года — уже вечность.)
Трудно вспоминать?
 — Нет, но смелость уходит. Так что пытаюсь полюбить это снова.
Успел забыть?
 — Ну, не я его, а оно меня. Пасется на лужайке, как бык перед началом корриды. Надо этого быка все-таки разозлить и самому разозлиться. Самое страшное даже не то, что может убить, а то, что может не заметить. Охотников-то до этого занятия много...
Дима, скажи, а почему после твоих шумных выставок в Русском музее и Московском манеже ты пишешь только портреты жены и друзей?
 — Потому что ту пьесу я сыграл.
Какую пьесу?
 — Ну, доказал себе и другим, что существую.
И теперь?
 — И теперь жду.
Чего?
 — Нового вкуса на губах.
А в театре было не так?
 — Там другая история. Ты работаешь в коллективе и занимаешься от общей веры, что это будет (когда будет) что-то сногшибательное. Художник в театре не первая скрипка. Тапер... Там производство, и ты один из. Но если фильм ставит Чарли Чаплин...
 — Ты так и не встретил режиссера уровня твоего отца?
 — Но его же, по-моему, никто не встретил... Живопись — одинокая профессия. Крутишь в одиночку динамомашину... Нет нормальных, так сказать, производственных отношений: ни нормальных покупателей, ни нормальных продавцов. Все какое-то амбициозно-провинциальное... Рынка нет. Русское бездорожье. Асфальтовые дороги обходят это место стороной. Но жаловаться на это пошлово. Ведь никто не запрещает писать... Когда в России такое было? Наверное, никогда.
И, вероятно, долго не продлился. Но пока литература (началось это с поэзии) и все искусство в России — частное дело.
 — Раньше запрещали, и, следовательно, — считались. Сейчас... Ну ты и сам знаешь... Я ничего больше не умею, а это дело иногда доставляет радость. И еще режиссура — опусшение полета. Когда это есть, можно выжить и без рынка.
 (Комментарий интервьюера: про «не умею» он, пожалуй, соврал. Во-первых, он превосходный график, во-вторых, еще и крепостной скульптор «Новой газеты», уже четыре года изготавливающий к первому апреля из досок, палки, проволоки и старых пуговиц главный приз нашей литературной премии — шаржированную, но на удивление узнаваемую фигуру Андрея Донатовича Сняевского. В-третьих, Крымов — драматург. Хотя и предпочитает склеивать пьесы из чужих слов. Одна (о Пушкине) идет второй сезон в Театре на Покровке, другую (склеенную буквально по фразе из четырех пьес Чехова) начал репетировать один из знаменитых московских режиссеров, а будут играть сразу восемь знаменитых актеров. Разлащавать подробности я не имею права, но могу заключить пари, что, если спектакль выйдет, на

нем пребывает вся театральная Москва. И уж точно — все, кто знал и любил Эфроса. Потому что это пьеса о судьбах его любимых актеров, которые играют самих себя. А еще мой друг Дмитрий Крымов — неожиданно для самого себя — оказался, видимо, первоклассным педагогом. На стенах мастерской — гуаше-



Фото Юрия РОСТА

Карельская черная. Персиковая черная. Умбра ленинградская. Марс оранжевый прозрачный. Изумрудная. Английская красная. Феодосийская коричневая...

Пока мой друг Крымов отвечает на телефонный звонок, переписывая в блокнот рецепт его палитры. Палитра у Крымова монументальная (так же, как и его работы маслом) и в его мастерской (под крышей в Малом Гнездиновском) занимает целый стеллаж. У другого так стоят книги. У Крымова — краски.

вые копии с шедевров мировой живописи, сделанные на целых листах ватмана в этих стенах младшими школьниками, до Крымова не державшими кисти в руках. Этими работами будут украшены стены одной сверхсовременной больницы. Ее уже строят. Правда, далековато — в Америке.)

Подозреваю, что ты бы не смог писать для Арбата.

— А я и не смог.

Неужели пробовал?

— У меня есть знакомый, который пишет и выставляет на Арбате. Стоит там субботу и воскресенье. Принесит десять картинок. Восемь, скажем, продает. А две оставшиеся он на следующий раз даже не берет с собой. «Не хотите?». Не надо. Я вам новые нарисую...» А эти кому-нибудь дарит. Потому что, если их не купили, значит, он не угадал рынок. И, следовательно, они ничего не стоят. Мне стало интересно, и я согласился с условиями рынка. Написал несколько небольших работ. Мой знакомый согласился с ними постоить. За день ни одну не купили. Подходили, спрашивали, кто и что... смеялись... (Значит, понравилось?) Но кошелек никто из кармана не достал.

Может, ты сделал ошибку, что сам не пошел?

— Так стыдно самому-то...

Слушай... Когда Цветаеву в начале века не покупали, она написала «Затерянным в пыли по магазинам. Где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед...» И хватит про Арбат. Это не твоя религия. А вот какие у тебя отношения с постмодернизмом?

— А что это? Когда все свалено в кучу и все намешано в одном?.. Если так, то хоршее.

в нечто осмысленное. То есть честно подражаешь природе, какой-нибудь травке, которая «растет из сора» (вот и Ахматову вспомнили), но из мертвых минеральных солей посредством света вырабатывает хлорофилл...
 — Каждый вырастает в то, что в нем заложено. И надо понять, что ты за трава — ромашка или лопух. А потом делать работу ромашки или лопуха. Смешно, когда лопух выдает себя за ромашку. Будь самым лучшим лопухом, и цены тебе не будет...
 — Ну да, и процветешь «без слов и без славы» на арбатской брусчатке...
 — Куда смешнее выдавать себя за аленький цветочек... Вот приходишь в мастерскую и задаешь себе вопрос — кто ты такой... И почему выбираешь этот, а не тот холст, чтобы писать на нем портрет, а не натюрморт или пейзаж... Никакой режиссер тебе не поможет. Ты сам и режиссер, и драматург, и труппа, и осветитель. Ты — все. И ты должен сыграть на холсте себя, лопуха.
 — А говоришь, что постмодернизм любишь...
 — Хороший — люблю, а плохой постмодернизм — это как кока-кола, которую ты принес. Жажды не утоляет, а как раз наоборот: чем больше пьешь, тем больше хочется. Если постмодернизм — грядка, то какая-то чернобыльская...
 — И как радиационная обстановка?
 — Этого добра хватает. Мало человеческого и много мертвого или злого. Как будто мы в детстве не наигрались в «царя горы». И продолжаем. Кто палку взял — тот капрал. Берем высоту и начинаем всех бомбить... Сегодня продается не искусство, а представление о стране... Из Китая везут драконов, из Афри-



воздух загрязняется, бабочки исчезают. Ходят коровы, на лужайке пастух спит... Но бабочек нет. И только когда коровы перестают давать молоко, люди спохватываются... Так и тут. На искусство люди тратят лишние деньги. Это не те деньги, на которые покупают еду, одежду, даже книги... У кого сегодня лишние деньги? Теперь их даже у банков нет...
 — Да, я слышал... Когда «Инкомбанк» покупал «Черный квадрат» Малевича, для перевозки холста был изготовлен специальный, чуть ли не несгораемый кейс. В нем картину доставили в банковский офис, и главбух (в банках тоже есть бухгалтерия), когда отомкнули все хитроумные замки, решительно отказалась ставить свою подпись на платежке. У человека не укладывалось в голове, ну как за та-к-о-е можно платить та-а-кие деньги. Покупку все же оформили. Но человек был в шоке. Наверное, в не меньшем, чем первые зрители и критики Малевича...
 — Словом, в бедной стране нет тех денег, на которые покупают картины.

И нет новых стен, на которые эти картины можно повесить.
 — Рынок начинается не с денег, а с интереса, потребности в том, что когда-то называлось «высоким». Пусть людям не на что было приобрести картину, им так нужно было ее увидеть, что художник пил этот электрический

питала гранта», ослабевает нагрузка на стихотворную строку. Чем может удивить Пригов? Только одним — хороши-ми лирическими стихами. Но лирика — не его специальность... Это ж бред, что концепт съел творца, что художник — уже не проводник между небом (или музой) и читателем-зрителем, а шаркарь-эквilibрист на нарисованной на полу проволоке да под виртуальным куполом...
 — По-моему, ты зря бранишься словом «концепция». В театре, скажем, без концепции не поставить ни детскую сказку, ни Гамлета. Но искусство — это творческие личности, а для их произрастания должны быть условия: или востребованность, или, допустим, зажим. А сегодня — ни того, ни другого. Мы оказались, как те сумасшедшие, в комнате, обитой войлоком. Кто-то сказал, что свобода состоит из двух частей: говорить и быть услышанным. Как творить, когда нет эха? Когда Алексею Арбузову, у которого было большое сердце, врач прописал плавать в бассейне, тот очень удивился: «Плавать?.. Без пейзажа?..» И отказался от такого лечения.
 — А мы не отказались и уже как бы и умерли. Это такая модель смерти — белый шум называется. Вот если ты все краски смешаешь, какой цвет получится — черный?
 — Серый.
 — Ну, конечно, ведь там еще и белила... Вот и русский XX век развалил искусство: сначала освободил художника от присутствия Бога, потом от свободы, навязав тоталитарную идеологию. Когда идеология рассыпалась, вместе с ней исчезло и само понятие иерархии... Мы быстро перескочили стадию «игры в бисер». Отменив Бога, перестали слышать человека, а значит, и себя. Какое-то время протянули на боли по утраченному, а теперь и это выдохлось.
 И разве что какой-нибудь гений-одиночка вроде Алексея Германа еще продолжает заниматься работой художника — космической работой по утилизации хаоса. Сейчас вот в Чехии снимает «Трудно быть Богом», за пять лет до 26 марта 2000 года угадав, куда страна покатится...

— Я тебя слушал и подумал, что искусство — это такое конструкторское бюро по разработке завесного неизвестно чего. В начале века, но уже после семнадцатого года, все были зачарованы чем-то свежим и новым (кто поиском всемирного счастья, кто полетом на Марс). Потом художников стали убивать, пугать, покупать или гнобить (и в этом тоже был элемент уважения). А сейчас сказали: гуляй, Вася! Дали вольную, но без земли!

Вистую ненужное искусство и «лишняя» наука, на которую у нас до того наплевали, что все разбегались, — и есть самое главное. Но эти две «ненужные» вещи и впрямь не терпят суеты и требуют большой сосредоточенности. А ее-то как раз нынешняя жизнь не предполагает. Если можешь не писать — не пиши. А не можешь, то, как любит повторять одна моя знакомая врач: а кто тебе сказал, что ты не должен страдать? Вот и страдай. Сейчас действительно странное время: голодное и одновременно сытое. Никого ничем не удивить, но никто и не испытывает желания быть удивленным. А ведь что-то новое возникает, когда его ждут. Это несчастье даже не бедной страны, а уставшей и циничной. Но это длинная и занудная песня. Не хочется ее и начинать...

Крымов Дмитрий

13.3.2000.